**Иерей** [**Николай Блохин**](http://www.proza.ru/avtor/blohin)

**Царское дело**

Тяжко умирал Грозный Царь Иван Васильевич. Страшный грех сыноубийства так и не отпустил. Бог, Который все прощает, когда каешься, простил, но разве возможно забыть то, как твой посох (Царский посох!) в порыве очередной вспышки безудержного бешенства летит острием в висок сыну твоему, кровиночки твоей, наследнику не только семьи твоей, но наследнику Престола государства Российского... Метался, рыдал, каялся, опять метался почти до умопомешательства – не вернешь сына. Сына Феодора, теперь наследника,

Грозный Царь Иван считал неспособным царствовать. Вздыхал, глядя на него и говорил:  
– Тебе бы, Федя, пономарем быть, а не царем.  
Кроткий и набожный царевич любил сам звонить в колокола, созывая москвичей на церковную службу. И улыбался при этом всегдашней своей блаженной улыбкой. Больше всего на свете любил молиться и стоять в храме на службе. В Великий пост в Чудовом монастыре выстаивал до конца самые тяжелые для стояния длинные богослужения, когда и опытные монахи изнемогали. Никогда не садился даже во время тех чтений, когда разрешено было, когда все монахи садились. И та же кроткая улыбка пребывала на его губах. Иногда только всплакивал и произносил тихо:  
– Боже, милостив буди мне, грешному...

"Смиренно-блаженный", – так его называли бояре. И еще по-всячески искали в нем что-нибудь унижающее. И находили: "нетвердая походка", "опухлое лицо", – и прочее всякое такое же внешнее, числом во множестве, и, наконец, все сходились во мнении: не склонен заниматься государственными делами. Правда, все отмечали, что: естеством кроток, мног в милостях ко всем и непорочен.

Это всех все-таки радовало, повторения свирепости Ивана Грозного не хотел никто. Правда, все думали, что с таким Царем не оправиться от тех ударов, которые нанесли нам в последние годы жизни Ивана Грозного король Речи Посполиты Стефан Баторий, шведы и крымцы.

И вот, 31 мая 1984 года в Успенский Собор из Царских палат вошел Царь и Великий Князь, двадцатисемилетний Феодор Иоаннович для венчания на прародительский престол, на царство на Московской Святой Руси. Входил Феодор Иоаннович в светло-голубой одежде, окруженный боярами, князьями и воеводами в золотых одеждах. Впереди митрополит Дионисий нес наследие Мономаха: Животворящий Крест, венец и бармы – нанизанные на золотую цепь круглые медали с изображениями святых, одеваемые на плечи, а брат Царицы Ирины, Борис Годунов, нес скипетр – короткий витой жезл с крестом – символ власти. Высшее духовенство в праздничных облачениях с песнопениями шествовало позади. Несметная толпа москвичей, запрудивших Соборную площадь, пение подхватила и могучие и светлые звуки его устремились молитвенными волнами к небесам, прося тишины и благоденствия уставшей Русской державе. Еле пробралось шествие сквозь народ, все хотели быть поближе к идущему на помазание, а самые ретивые жаждали дотронуться до его одежд.

В Соборе Феодора Иоанновича облачили в царские парадные одежды, митрополит Дионисий возложил на него шапку Мономаха и бармы, а затем, после того, как Феодор Иоаннович приобщился Святых Таин, митрополит помазал его святым мирром. К народу из южных ворот Успенского Собора выходил уже помазанник Божий, Царь Феодор I.

Среди тишины, из заранее приготовленной корзины, наполненной монетами, посыпался на шапку Мономахову, на плечи Государевы золотой дождь, символ человеческий Божьего благословения Его благодатью. И грянуло над площадью многоголосное "...мно-о-гая ле-е-ета!.." И, перекрывая пение, ударили колокола всей Москвы ликующим трезвоном. Красный звон – Царская встреча – носился по московским площадям и улицам и, отражаясь от домов и храмов, сталкивался сам с собой, образуя переливчатые звуковые вихри, которые кружились в воздухе, уходили в землю, уносились в небо, или столбом гудящим замирал вихрь, сгущался надолго на месте, отслаивая от себя умиротворяющие радостные волны. И радость в Красном звоне чувствовалась особая, будто сами колокола радуются, что воцарился их любимчик и сами они его любимчики – сел Царь на престол московский, любимое дело которого – в колокола звонить.

А в гудении большого тысячепудовика будто слышалось: "Эх, Государь, вбежал бы что ль ко мне, как каждое утро прибегал! Да разве ж это звонари, по сравнению с тобой..."  
А Государь Феодор I Иоаннович, восседая на роскошно убранном коне, направлялся к своим палатам и смотрел в ответ на колокол и улыбался своей всегдашней улыбкой.  
Услышав колокольный звон, рука каждого русского человека сама собой поднимается для крестного знамения. А если в колокол звонит сам Царь? Нужны ли вообще тогда царские указы, коли сердцем слушаешь колокол, в который от сердца звонит твой Государь?

В палатах Царь сел на трон и сказал:  
– Бремя, возложенное на меня Благим Господом по устроению дома Пречистыя Его Матери, вместе понесем, каждый свою часть – кто в храме на молитве, кто с мечом в поле ратном, кто с плугом в поле пахотном, кто в "приказах" думу думать...

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский стоял в тесноте в царских палатах и слушая тронное царское слово, безотчетно чувствовал, что действительно для Руси наступает время тишины. Ну, хоть временный передых. И не мог себе объяснить, почему он так чувствовал, будто слова царские только на звучании своем несли в душу успокоение, уверенность и радость, как только что завершившийся Красный звон. И тут рядом с собой князь услышал ироничный вздох. Вздыхал боярин Григорий Годунов, родственник Бориса Годунова. И вздох его говорил: "Да уж ясно – не в "приказах" ты будешь думу думать, а из храма не вылезать..." Боярин понял укоризненный взгляд князя и в ответ на укоризну опять вздохнул: "Да прав же я, князь..."

Первым делом царствования Феодора Иоанновича было освобождение без выкупа всех литовских пленных. И не от того он поступил так, что не хотел новой войны с Баторием, но... если ты христианин, то как же еще поступить?  
Так говорил он противникам этого решения, жаждавших обязательно получить за пленных деньги. В разговоре с Катыревым-Ростовским князь Михаил Головин возмущался до брызганья слюной:  
– Всегда за пленных деньги брали! Не слишком ли он следует внушению своего жалостливого сердца?! К противнику! Это не по-государственному!  
– Это по-царски, – отрезал Иван Михайлович. И добавил затем: – Это внушение православного сердца.   
Вскоре Головин благополучно перебежал к Баторию, уговаривая того спешно двигать свои войска на Москву, дескать, при таком бесхребетном Государе победа обеспечена.  
"Вот с тобой бы я точно разделался без жалости и не по-православному," – думал про перебежчика князь Катырев-Ростовский.  
А глядя на то, какое время потекло на Руси, радовался в душе: "И умилосердился Господь на людей Своих и возвеличил Царя, который, державствуя тихо и живя в благонравии, явился, наконец, тем утешением, которого так ждали подданные..."

Внутри – тихо, на границах – спокойно. Вдруг почему-то валом повалили "удачные перемены" для нас во всех внешних силах, что ощетинились против нас со всех сторон. Вроде бы само собой, хотя Царь, как вздыхал про него Григорий Годунов, "не вылезал" из храма. Борис Годунов, ближайший царев помощник, чтоб получить нужную подпись, часами ждал, пока Царь закончит молитву и прервать ее не смел. Никто не смел. Его можно было оторвать от чего угодно, грубости даже он терпел запросто, но чтоб молитву его прервать... И все были уверены, что при этом могла вполне всколыхнуться и вскипеть в его жилах батюшкина кровь. От одной мысли об этом все в трепет приходили.

Города, один за другим, возникали и росли на границах, важнейшие города. На севере – Архангельск, на Волге – Саратов, Царицын. Астрахань и Смоленск обведены, наконец, каменными стенами. Курск, 300 лет стоявший разоренный, не подступиться к нему из-за набегов – в один год отстроился. И на Волге, на удивление строителей, те, кто раньше житья не давал, вдруг перестали тревожить.

А Государь вместо думы думанья в "приказах" – на молитве в храме стоял.  
– Государь, – дождавшись, наконец, когда Феодор Иоаннович вышел из храма, тревожно говорил Борис Годунов, – подпиши указ, чтобы войско из Новгорода перебросить. Баторий окончательно решился нападать.  
– Ну, "окончательно" – это вообще не людская мерка. Что "окончательно", а что нет, один Бог знает. Завтра заговенье на Филиппов пост, а в пост, Борисушко, молиться надо, а не бегать войско собирать.  
– Государь! – уже даже раздраженно воскликнул Борис. – Баторию все равно когда нападать, ему что пост, что не пост.  
– Ему-то все равно, а нам-то нет. Господь – он все управит, как надо. Пойду вот сейчас Пречистой помолюсь, Донскому образу Ее. Что-то я к нему нынче особую приязнь чувствую. А ты иди пока, а то у меня от твоих бумаг голове неспокойно...

13 ноября 1586 года , в заговенье на Филиппов пост, в самый разгар приготовления к войне, внезапной смертью умер злейший и могущественный враг державы Российской, король Речи Посполитой Стефан Баторий. И в одночасье рухнули все его окончательные планы.  
  
Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский во всю прыть мчался к Москве, сокрушаясь, что все-таки уткнулось спокойное течение времени в беду. Страшную беду. Слава Богу, хоть успели много за тихое время.  
150 тысяч крымских головорезов под предводительством хана своего, Козы-Гирея, прут прямо на Москву, имея в виду оду цель: стереть ее с лица земли. Кто сопротивляется – под нож, остальных в плен, туркам в рабство.  
Скрытность крымцы обеспечили блестяще, вот только что их обнаружили, когда до Москвы уже рукой подать. Правда сигналы на вышках уже дошли до Москвы и первого июля около Данилова монастыря наши, числом вшестеро меньше крымцев, расположились военным лагерем, оградив себя сцепленными телегами. Внутри лагеря соорудили по личному царскому распоряжению в один день деревянную церковь во имя преподобного Серия и, говорили, что Государь сам привезет в нее из Кремля икону Царицы Небесной, которая была с Дмитрием Донским на Куликовом поле...  
  
...Он глядел на Лик, который сегодня будет среди его войск вдохновлять ратников на смертный бой.  
– ...И что они все лезут?.. Сам Сергий преподобный держал в руках эту икону и Димитрию Донскому в руки отдал. Теперь мне вот, многогрешному, на своих недостойных руках нести ее воинам своим..."  
Он зажег свечу, поставил ее на подсвешник перед Ликом, встал на колени. Показалось: светлое пятнышко возникло на правой ручке Младенца, которой Он держался за Мать. Прошептал тихо:  
– Царица Небесная, спаси землю Русскую...

Но тихий шепот его воплем взывающим полетел безмолвно из души сквозь свечное пламя к светлому пятнышку. И будто этот его душевный порыв за собой увлек пламя, умножил его. И вот уже он видит икону, сияющую почти нестерпимым светом, будто окно перед ним светоносное из Царства Небесного! Каждой клеткой тела своего, каждым нервом мозга, каждой незримой стрункой души осознал царь Феодор, что вот сейчас только, впервые в жизни и возможно в последний раз, пробуждается в нем то, что и называется молитвой. И это – дар, дар на малое время, ибо не может обычный человек вынести этот дар долговременно, взорвется, распадется душа от такого напряжения. Сергий преподобный, в хам которого понесет он сегодня Донской образ, молился такой молитвой каждый день. Но то – Сергий. Нет его нынче... Как – нет?! Давай, батюшка Сергий, рядом ведь ты сейчас с Хозяйкой нашей, Которая и при жизни к тебе являлась и к Которой я сейчас взываю. Давай, помогай!.. Прости, Владычице, и Царь я плохой, и молитвенник плохой: царствовать не умею, т молитвы отвлекают, а я поддаюсь на отвлечение... – теперь он уверен был, что видит Ее живую в окне из Царствия Небесного.

"Крест тяжек, князь, не жди поблажек, – так говорил ему его духовник, митрополит Дионисий. – За царское служение так спросится, как ни с кого ничего не спрашивают. И если хоть крупица этого служения не по совести, нерадиво, не продумано до конца и со всех сторон, если, взвешивая решение, хоть что-нибудь опустил, если не в ту сторону рассуждение повел, если важное за неважное принял и наоборот, если Божий дар с яичницей спутал, если Божью волю не распознал и свое разрешения под нее не подстроил!.. Беда!  
А возможность распознания воли Его дана Им, коли Он Сам архиерейскими руками на Царство тебя помазал, скипетр власти над православным людом вручил. У Него и спрашивай! И у Матери Его и святых угодников Его. Молись, от всего отрешись, не ленись – ответят! А поленишься, не отрешишься – там, в трясине преисподней, среди огня и чада вечных тоски и страха быть тебе в самых нижних рядах, а на голове твоей будет стоять языческий жрец и участь его будет легче твоей.

И сомнение неверия будто иглой сердце мучает. А эта игла только смирением расплавляется. Когда приступил душевным плачем к расплавлению иглы сей, тогда и понял грандиозность глыбы-горы под названием смирение. И – недоступность-неприступность ее вершины при проколотом сердце. Смирение – это не болтание щепкой на волнах обстоятельств, не униженное подчинение сильному, не вынужденная линия жизни слабовольной души. Смирение – это окончательное решение каменной воли следовать в жизни одному и только одному установлению: "Господи, помилуй! Меня не за что миловать, но Ты – помилуй. Я слеп и глуп. У меня нет воли, нет ума, нет сил, нет ничего. Без Тебя я – ничто. Единственное что я могу... точнее: попытаюсь смочь, это безропотно принять любое Твое волеизлияние про меня. Я не умею распознать Твоей воли, я не умею видеть волю людей, я не знаю сам себя. Руководи мной и не бросай..."

Смирение – это высшее достижение всех, что есть, вместе взятых, творческих возможностей, заложенных в нас Создателем. Смирение – это сила, не оборимая ничем. Вера, которая горы двигает, стоит на покаянии. А покаяние рождается из зернышка смирения. Разум, от гордыни просветленный, душа, наполненная жаждой очищения, все это почва, зернышко питающая...  
Распластанный в плаче перед окном в Царство Небесное, он вот только сейчас почувствовал, как тает игла, вытекает из сердца.  
– Царица Небесная, спаси землю Русскую!..

И он увидел, хотя глаза его были закрыты, что принят его душевный крик. И выдохнулось слезно и сокрушенно из бестелесного очищенного разума:  
– СПАСИ... – огромность, многогранность, и в то же время предельная простота, единственность этого грандиозного слова, вот только сейчас осознались во всей полноте. Только этим словом молиться надо, только об этом просить.  
От чего спасти? От кого спасти? От копыт коней Казы-Гиреевых?..  
Давно забыт Казы-Гирей, причем здесь любая напасть земная?.. "Давно забыт?" А как это – давно? Что такое – давно, когда нет времени под лучами света из окна в Царство Небесное?  
"И я сейчас в нем!! Дай его всем, всем моим подданным! Ты меня посадила домом Твоим управлять, так дай же им всем, кем я управляю, жить в том Царстве, где Ты – Царица!.. И если такова воля Сына Твоего, чтобы растоптан был дом Твой земной – Святая Русь, а жители его прекратили земную жизнь, да будет так. Но!.. СПАСИ, спаси жителей дома Твоего, вознеси их ВСЕХ в Твое Царство, всех до единого! Никто из них, и я в первую очередь, не заслужили того, но ты все равно вознеси всех! Меня оставь, ибо из всех недостойных я – самый недостойный, Царь их,.. но всех остальных – вознеси!.."  
Возвращалось тело, отпускало каменное оцепенение. Тусклое пламя свечи горело перед Донской иконой.  
  
Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский подъезжал к укрепленному телегами лагерю, когда икона крестным ходом уже входила туда. Несли ее Царь и митрополит Дионисий. Когда вслед за воеводами пошли прикладываться к ней ратники, а воеводы вышли из храма, опечалился князь, на них глядя. Тревога и уныние – вот что сквозило от их облика. Икона, крестный ход, сам Государь среди стана никак не вызывали у них душевного подъема. Один из них, старый знакомый князя, вздыхал, что плохо организованы посты дальнего дозора, что Государь обязан был послать в Новгород за подмогой, тогда хоть не такое подавляющее превосходство было б у крымцев, что и дипломатия не та, что "молись, да к берегу гребись", что "на Бога уповай, да сеять рожь не забывай..."   
– Сердце Царево в руке Божией, – перебил воеводу князь Иван Михайлович.  
Воевода махнул рукой и отошел.  
Меж тем, Государь обходил всех воевод и говорил каждому какое-то ласковое, ободряющее слово. Подошел и к знакомому князя, тот кивал в ответ на его слова, потупив глаза.

С Царем прибыло много бояр, приказных и еще всяких и сейчас князь заметил, что среди них не просто тревога стоит, но все они на грани паники. Один почти кричал, что женщин, детей и ценности, сколько возможно, из Москвы увозить надо. Другой метался, все про какие-то укрепления говорил, что, мол, мало вокруг посадов деревянных стен поставили... Князь вгляделся еще внимательнее во все, что его окружало и увидал, что несокрушимо спокоен из всех только один человек – Царь Феодор Иоаннович, И улыбается всем все той же своей улыбкой.

Борис Годунов нервно доложил Государю, что крымцы заняли Воробьевы горы. Феодор Иоаннович среагировал так, будто ему сообщили о прилете на Воробьевы горы стаи гусей. Появился Григорий Годунов и с ужасом на лице, едва не плача, сказал князю, что ему передали, что крымцы начали наводить переправу через Москву-реку. Тут к ним подошел Государь.  
– Ты чего это разнюнился, Гришенька? – ласково спросил он Годунова.  
– Да делать-то чего, Государь? – вопросом на вопрос ответил тот.  
– Как чего? Да вот зайди в храм, у иконы помолись. А?  
Григорий Годунов только поморщился, ничего не сказав.  
– Утишься, Гришенька, – еще шире улыбаясь, проговорил Феодор Иоаннович, – крымцев завтра здесь не будет. – Шутишь, Государь?  
– Шутить мне не пристало.  
– Тогда как же ты их прогонять будешь?  
– Да где мне, куда мне, сирому, их прогонять, сила вон какая!.. Говорю ж тебе: сами уйдут.  
– Государь, Да я ж Дворцовым приказом ведаю! Всеми вотчинами твоими! Прикажи хоть казну, сколько сумею, увезти!   
– Сдурел ты с горя, Гришенька. А приказываю я тебе вот сей же час: иди-ка и еще раз к иконе приложись. Да помолился бы усердно. Забыл, небось, когда лоб-то перекрещивал. Завтра вам некогда будет молиться, завтра гулять будете. А я – в колокол звонить.  
Когда Государь отошел, Григорий Годунов только рот открыл, чтобы что-то сказать, но князь опередил его.  
– "Не прикасайтесь к помазанникам Моим!" – почти выкрикнул он. И тихо добавил: – Даже мыслью злословной. Тебе слово Царское сказано! Тебе что, мало этого?!.  
  
Козы-Гирей был не просто доволен обстановкой и самим собой, он был очень доволен. Главные трудности позади. Вот она – беззащитная Москва за Лужниками. Главная же трудность прошедшая в том состояла, чтоб заставить своих орлов быстро мчаться к Москве, не отвлекаясь по пути на всякие там Серпуховы, Тулы, Рязани. Как можно быстрей – к Москве. Там главная добыча. За семь лет безмятежного царствования этого тихони-богомольца в Москве собрали столько богатств! Удивительно, за семь лет ни одного набега! Пока он, Козы-Гирей не утвердился в Крыму ханом. И то, что сейчас происходит, – Казы-Гирей самодовольно усмехнулся, – это не набег, это окончательный разгром Москвы и уничтожение Московской державы. Очень боялся подмоги из Новгорода, потому так спешил. Нету подмоги, свободен путь, а Новгороду – свой черед, по частям их добью...

Разбудил Козы-Гирея грохот пушечной канонады, людские вопли и ржанье коней. Мгновенно поднялся и, выскочив из шатра, наткнулся на царевича Мурат-Гирея, командующего передовым корпусом и ответственного за переправу. Мимо, не видя ни его, ни Мурат-Гирея, мчались с криками всадники.  
Меж тем из черноты ночи, что царила на Лужниковском противоположном берегу, пушечный грохот становился все сильней. И явственней слышалось цоканье копыт о камни, будто тысяч сто лошадей по камням галопом скачут. И шум от скачки не меньше, чем от канонады.  
"Да у них отродясь такой конницы не было, да и нет там никаких камней, земля мягкая..."– мелькнуло в ханской голове.  
– Что происходит?! – хан схватил за шкирку Мурат-Гирея. И отпустил сразу, увидав вблизи его лицо. Таким он его никогда не видел. В глазах – никакой осмысленности, одна паника, еще чуть-чуть и начнется истерика.  
– Наверное войско из Новгорода, – выдавил, наконец, Мурат-Гирей.  
– Что значит "наверное"?! – взъярился хан. – Где царевич Нурадин?! Остановить этих!..

Но было уже видно, что остановить "этих" совершенно невозможно. Наконец, вытряс из Мурат-Гирея, что когда первая сотня плотов с диверсантами переправилась на тот берег и захватили несколько дозоров, все пленные радостно заявили, что пришло, наконец, огромное войско из Новгорода и сейчас оно будет здесь. А главные силы Новгородской рати в обход пошли, чтоб в клещи взять, и уже Можайск миновали, вот-вот здесь будут...  
– Да мало ли что наплетут пленные! – взревел хан. – Где они?!.  
Но ясно было, что в царящей кругом сумятице на его взрев "где они?" ответа он не получит. Да и неважно это теперь: были не только слова пленных, был возникший вдруг конский топот и пушечная каннонада из ночной тьмы. Переправившиеся диверсанты кинулись к плотам и что есть мочи погребли назад и, переправившись, с воплями, смяв обалдевших соратников, полезли по крутому берегу наверх к лошадям. Тут и на Воробьевском берегу стали слышны и топот и канонада.

Козы-Гирей знал, что самое страшное для войска не неприятель, а паника. Если она еще не расползлась, ее кое-как, саблями и плетками можно подавить. Но бывает паника запредельная, она не давится. И именно она рвалась сейчас из глаз не кого-нибудь, а его ближайшей опоры, командующего главной силой его войск. Про скачущих мимо и орущих и говорить нечего было.  
"И все пушки, небось, бросили," – пронеслась тоскливая мысль.

И мысль, надо сказать, вполне правильная. Тут вдруг бесстрашный Козы-Гирей почувствовал, что и ему становится страшно. Мурат-Гирея уже рядом не было – ускакал. И страх какой-то особый, ранее неведомый – не канонада с топотом из темноты внесла этот страх. Ночные налеты для него и его налетчиков были обычным делом и им-ли, степнякам (вся жизнь на конях), конского топота вдруг так испугаться? Да если и случался испуг от этого, он всегда пресекался, всегда можно опомниться от такого испуга. Но звук пушечного грохота и конского топота нес на себе еще нечто, словами не объяснимое. Будто ветер страшный, непонятной природы, летел на пушечном грохоте и вгонял в сердце невозможный, вон отсюда толкающий страх, от которого не опомниться, пока несется на тебя этот ветер.

Это ж надо, как перекосило физиономию Мурат-Гирея! Да он один против пятерых в бою дерется! И чем больше на него наваливается, тем он спокойнее и сосредоточеннее. Но ни разу еще до этого на него не наваливался такой ветер. Не от коней и пушек удирали его налетчики, а от невозможного прогоняющего ветра. Вскочил на коня, поднял нагайку, чтоб хлестануть его, и... замерла рука:  
"А шатер ханский?! Да там же... Эх, какой там шатер..."   
Хлестанул и помчался вместе со всеми и никто из скачущих рядом его не узнавал, каждый рвался сам по себе.  
  
Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский ехал на коне вдоль Москвы-реки по Лужниковской пойме. Ехал проверять посты дозора. Взошла луна. Желтой ленточкой легла на тихую воду лунная дорожка. На душе было тихо и спокойно и совершено не думалось, что там, куда упирается лунная дорожка, на высоком берегу готовится к прыжку страшная вражья сила. Князь любил эти места. Лужниковская пойма – кормилица Москвы, но и красива необыкновенно! Справа в блеклом лунном свете стояла стена травы, до седла высотой . За Новодевичий тянулись пойменные луга, впереди, вверх по течению, за лугом – огороды и сады. На все это смотреть – не наглядеться с той стороны, с Воробьевых. Сейчас крымцы любуются... Хотя, вряд ли, они умеют любоваться только добычей, награбленным. Скоро будут любоваться.

От последней мысли руки сами собой поводья дернули, конь на дыбы встал с коротким ржаньем: "Ты что, хозяин?"  
"А и действительно, чего это я?" – князь едва не выругался и слегка пришпорил коня. Сейчас будет избушка пасечника из царского приказа, лето он здесь с семьей живет.

Издалека услышал шум и возгласы. "Спать бы в это время надо." Всполошенное семейство пасечника спешно выносило домашний скарб из избы и грузило его на телегу. Вторая телега, видимо, предназначалась для семейства. Разом вскрикнули все, когда в лунном свете возник перед ними всадник на коне.  
– Это я, Трифоныч, – сказал князь. – Узнаешь?  
– Ой, Господи помилуй! – пасечник перекрестился. – Ты б, князь, хоть загодя покричал. Так ведь и "кондратий" хватит! А я уж подумал – все, пропали, переправились, проклятые.  
– А ты куда это собрался?  
– Да ты что, князь, еще спрашиваешь! Раньше вот, дураку, надо было... Где эти шельмецы? – накинулся он тут на жену. – Что? Верши у них на реке поставлены?! Да ты!.. Почему отпустила?!.   
– Да остынь ты, Трифоныч, – сказал князь, – и неси все с телеги обратно в дом.  
– Шутишь, князь?  
– Шутить мне не пристало. Сегодня крымцев здесь не будет, – голос князя был таким, будто он про стаю галок говорил, что каждую ночь в огромном количестве ночуют на Воробьевских соснах: ну, мол, переночуют и улетят.  
– Это с чего ж?  
– Уйдут.  
– Это с чего ж?  
– Так Государь наш сказал. Он слово Царское дал.

Пасечник подошел вплотную к князю и внимательным, въедливым взглядом уперся в его лицо. Князя он знал давно, особо выделял его из всех, с кем сталкивала жизнь. За все время знакомства тот зазря не сказал ни одного слова, а тут такое говорит!  
– Думаешь, они от его царского слова... того?  
– Не думаю, знаю. Слово при мне сказано. А его слова – результат дела.  
"Это ж какого дела, что тьмы вражеские возьмут, да и уйдут? Не для того пришли," – так безмолвно говорили глаза пасечника. Он и во дворце бывал, пасеки ведь дворцового приказа, знал он, какое дело у Царя. – "Эх, князь, твоими бы устами..."   
А князь сказал в ответ на взгляд пасечника:  
– Кабы все мы его дело умели делать, они б, из Крыма выйдя, по воздуху в море улетели, а ты б в Крыму мед качал.  
– Эх! – воскликнул пасечник, – Разгружай! – это уже к жене, – А ребятня пусть себе на реке вершами балуется. Скоро уж светать начнет.  
И тут послышались детские крики и из прибрежных кустов выскочило трое мальчишек и каждый из них орал:  
– Татары, татары!  
– Эх, князь! – вскинулся пасечник и заметался между домом и телегами, к которым уже подбежали его сыновья.   
Князь вынул саблю и молча стоял, ожидая. В кустах послышалась возня и одинокий голос что-то прокричал на чужом языке. И вдруг раздалось по-русски:  
– Здаюс! – и из кустов вышел крымский солдат с поднятыми руками.  
Увидав стоящие в лунном свете силуэты, крикнул еще громче:  
– Здаюс! – и еще выше поднял руки. И остался на месте.  
– Подойди сюда, – сказал по-татарски князь. При Иване Грозном с крымцами он имел дело не раз и язык ихний знал. – Опусти руки и иди сюда, не бойся. Кинжал не бросай, мне отдашь.  
Крымец, что-то бормоча по-своему, пошел к князю, но рук не опустил. Жена пасечника спряталась за мужа, а трое мальчишек – за князя.  
– Князь, чего он, а? – спросил испуганно пасечник.  
– Он говорит, что плоты уплыли. он не успел, а плавать не умеет. Просит не убивать. А почему плоты уплыли? – спросил по-татарски князь.  
– Так ваших же туча идет. Пушки стреляют.  
– Какие пушки?  
– Ваши, какие же еще? Оттуда, – крымец махнул рукой в темноту в сторону Москвы.  
И тут на Воробьевской стороне будто взрывом ахнуло многотысячными воплями, конским ржаньем, ляганьем.  
– Во! – крымец указал рукой на ту сторону и упал на колени, – Не убивайте!  
– Мы пленных не убиваем, – сказал князь и затем, обернувшись к совсем потерявшемуся пасечнику, весело добавил, – Да разгружай ты свое барахло! И впредь не сомневайся в царском слове.  
  
Борис Годунов и начальник Царского приказа, Григорий Годунов сидели на лавке около двери в домашний царский храм. Мрачно молчали. Вошел князь Катырев-Ростовский.  
– Челом бью, бояре.  
Те молча кивнули головами.  
– Что Государь?  
– Как всегда, – буркнул Борис Годунов и вздохом как бы добавил: "Молится." Усталый и раздражительный вздох получился.  
– А ты чего это такой... рот до ушей? – недоуменно спросил Борис Годунов.  
– А ты чего такой невеселый, боярин? Весточку Государю привез. Тебе докладываю. Крымцы движение начали...  
– Что?! – оба Годунова разом вскочили.  
– Да в обратную сторону! На Воробьевых их уж час как нет. Как раз столько, сколько я до вас еду. К обедне как раз у Серпухова будут.  
Дверь открылась и из храма вышел Феодор Иоаннович. Все поклонились ему в пояс.  
– Государь, тут вон, князь Иван,.. – растерянно начал Борис Годунов,.. – князь Иван с докладом приехал, уж не знаю...  
– И с докладом, и с пленным, – улыбаясь добавил князь Иван Михайлович.  
– Ну, ушли, что ль супостаты? – Государь улыбался своей всегдашней улыбкой, но голос его был вполне равнодушен, будто спрашивал: "Ну что, прошел дождь?"  
– Ушли, Государь! – воскликнул князь Иван Михайлович. – Сам видел.  
– Ну что ж, все вы молодцы, – отвечал Феодор Иоаннович, – всех исправно награжу, воевод особенно...  
Вдруг Григорий Годунов опустился на колени и с шепотом: "Прости, Государь!" затрясся в рыданиях.  
– И тебя награжу, Гришенька. Полно плакать, веселиться надо, Петров пост неделю как кончился – гуляйте! Ну а я... ой, Борис, опять эти бумаги, ты хоть бы ради праздника,.. ну, сейчас печать вынесу...  
  
Большой колокол, тысячепудовый великан звонницы Архангельского собора, тонким звуком, будто рой пчел гудел на огромном языке, встретил появление Феодора Иоанновича. От резонанса его шагов, – как сказал бы какой-нибудь ученый. Но это было от радости – давно не виделись.  
– Ну, здравствуй, старый приятель, – сказал Царь, беря в руки веревку.   
Рядом звонари малых колоколов, а также звонари на всех колокольнях Соборной площади, а за кремлевскими стенами звонари всей Москвы, ждали сигнала. На Соборной площади было народу не меньше, чем на коронации.  
И большой колокол ударил, загудел, объявляя начало Красного звона, который накрыл Москву и полетел во все концы света, объявляя всем и вся, рвущимся в завоеватели Святой Руси, что перво-наперво им надо выучить единственное русское слово, которое им пригодится – «здаюс». Других не понадобится, пока Русский Царь звонит в большой колокол.